

«Дубль, дубль, — что я молодой, что ли?»

— ПРЕДСТАВЬТЕ, что вы идете по улице, думая о своем, а, скажем, за углом вас раздают, укладывают на обнаженную женщину и тут же, на улице, при полном скоплении зевак требуют от вас и натуральной страсти, и вожделения — вы сможете?

Со мной случилось то же самое, с той только разницей, что после такого позора вы смоетесь, не оставив зевакам даже своего имени, а я останусь на пленке навсегда, и ее увидят миллионы!

Я вообще думаю, что резкое, неподготовленное вхождение актера в эротическую сцену должно преследоваться законом как насилие над личностью, но тогда, полтора года назад, когда, доверившись талантливому режиссеру Рубинчику, я принял предложение сняться в большом и гротесковом эпизоде сценария по комедии Аристофана «Лисистрата» и делал всего на один день для этого в Дербент, я ни о чем этом не думал, потому что с эротикой в своей актерской жизни еще практически не сталкивался, а сценарий «Лисистраты» успокаивал: жены воинов НЕ занимаются любовью со своими мужьями, пока те не заключат между собою мир.

— Плавочки дадите? — спрашиваю костюмершу, обряжающую меня в коротенькую тогу.

— Плавочек вам не надо, — отвечает.

Но я не догадываюсь даже тогда, когда подходит гримерша и подольчик моей тоги приподнимает:

— Надо заморить вас морилкой, а то вы там незагорелый.

— Я сам, — говорю. Я ведь человек по натуре стеснительный, нормальный.

— Сами вы неровно положите, — стоит, мажет меня, а что делать?

А вот и моя жена древнегреческая — Ольга Кабо, красивая девушка, на голову меня выше, и мне становится ясно, что сцена насилия здесь ну просто совершенно отпадает.

— Здравсьте, — говорю дружелюбно.

— Здравсьте, — настороженно отвечает, и мы едем в автобусе на съемочную площадку, и одета она во что-то совсем уж прозрачное, и я для приличия отворачиваюсь.

Приезжаем в какую-то крепость, она стоит посреди города и служит чем-то вроде парка отдыха дербентцев, а сейчас в ней просто яблоку негде упасть.

Рубинчик нежно встречает нас, объясняет эпизод... Глазом не успеваю моргнуть, как Оля лежит навзничь, я — на ней, но этого мало: надо изображать накопившуюся страсть, прямо здесь, на траве, потому что мой древний грек приехал с войны и не мог, гад, даже дотерпеть до постели. Делать нечего, против правды древних не попрещу, лежу на ней в ужасе, ничего не помню, а Рубинчик бегаёт вокруг, кричит: «Да вы ведь давно не виделись! Костя, что ты с ней деликатничаешь, это же твоя жена!». Она бьется, я тискаю ее деревянными пальцами, ничего не чувствуя и не соображая, кроме того, что на мне нет плавков!

Кончились репетиции, пошли дубли, в паузах на нас с Олей что-то набрасывают, мы судорожно с ней общаемся, пытаюсь родить хоть какие-то симпатии друг к другу, а потому я категорически требую выдать мне плавки. Рубинчик так же категорически против: «Для ощущения», — говорит он, — надо без плавков». «Боже! Какое ощущение! — ору я в ответ. — Для ощущения мне надо пять брэк надевать, в броню заворачиваться, ведь я тем лучше сыграв, чем меньше о своей голой заднице думать буду!».

А в следующем эпизоде нам надо, сорвав друг с друга вообще все, бежать по крепостной стене. Триста метров.

«Оля, — шепчу я дрожащей партнерше, — Оля, ты убеги от меня, пожалуйста». «Костя, я не очень умею бегать», — отвечает. «А я легкой

атлетикой занимался, черт ее дери...» Как рискованно бежать голому мужчине, да еще при замедленной съемке, в рапиде! Господи, а как потом возвращаться?!

Я смотрю на режиссера и понимаю, что он не отступит, что он слишком влюблен в свою придумку символического бега голого мужчины за голой женщиной, этого знака жизни, а я слишком мало с ним знаком, чтобы спорить, и в кармане моих недостижимых брэк — билет на вечерний рейс самолета.

Стискиваю зубы, нервы и волю в кулак, отшвыриваю после команды «Мотор!» одежду и стартую на эти триста метров, не видя ни народа внизу, ни Ольги впереди, не чувствуя «дождя», которым нас поливают из пожарной машины, а потом мы возвращаемся, и у меня просят автограф. «Ну зачем вам еще и автограф-то? — спрашиваю. — Вы уже и так знаете обо мне все, я ведь стою перед вами в чем мать родила...»

Полубоморочное состояние. Пять дублей. Снято.

Моемся мы с Олей в одной кабинке душа, потому что другие кабинки заняты, а нам уже стесняться друг друга бессмысленно — у нас ощущения людей, переживших вместе одну беду.

ЕСЛИ бы я знал тогда, в самолете, что эту сцену придется доснимать! Что к ней добавится мой монолог, в продолжении которого ее рубашка заменит мне фиговый листок. И если бы я знал, где все это будет происходить! В Москве, на Проспекте Мира, в скверике!

Первый раз в жизни я попрошу перенести съемку на другой день: на нервной почве не смогу проговорить текст. И будут доснимать опять. Поздней осенью, уже на территории «Мосфильма», где все равно народу — полные окна. Я буду один. Под ледяным «дождем». Голый.

Думаю, что это был последний советский эротический эпизод в моей жизни. Или я ошибаюсь?..